ДМИТРИЙ АРДЕН

КНИГА ПЕРВАЯ



ИГРЫ НА КРАЮ ИМПЕРИИ

ЖАТВА

Дмитрий Арден

Жатва. Игры на краю Империи

«Автор»
2026

Арден Д.

Жатва. Игры на краю Империи / Д. Арден — «Автор», 2026

"Только не меня".Эту фразу шепчут все в очереди на Жеребьёвку. Сегодня барабан вытаскивает её имя.За окном пепельный снег Сектора 12, свет выключат ровно в двадцать два — а Жатву всё равно покажут всем. Смотреть обязаны даже мама и десятилетний Тёмка.Семьдесят два часа на сборы. Двадцать четыре трибута. Двенадцать Секторов. Один победитель — правило, которое повторяют с экранов каждый год.Кира умеет считать: шаги, паузы, чужие голоса, пустые строки в графах. На Арене она быстро понимает, что здесь считают не шаги, а людей, и цифры в сводке меняются раньше, чем успеваешь спросить, кто исчез. Рядом Даня, сын казнённого надзирателя: молчит вовремя, держится в полшага и не обещает ничего, что можно записать в строку.Геймmейкеры меняют правила на ходу, дроны снимают каждый вдох, зрители решают, кого жалко. У Киры остаётся одно преимущество: она отказывается вести чужой счёт.Первая книга франшизы «Жатва».

© Арден Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Конец ознакомительного фрагмента. 10

Дмитрий Арден
Жатва. Игры на краю Империи

Пролог

Сектор 12, Норильск. Утро Жеребьёвки.

Свет приходит не сразу. Сначала в окне проступает серый квадрат. Потом в нём проявляется труба ТЭЦ. Потом — снег.

Не белый. У нас снег не бывает белым: за сутки он набирает сажу и ложится на крыши, на провода, на бетон тем же цветом, что мои волосы. Пепельным. Мама говорит: помыть бы. Я давно не пробую. Пыль въелась ещё тогда, когда я бегала к проходной встречать отца, а он подбрасывал меня над сугробом, и ладони у него были чёрными, и мне было наплевать.

За окном минус тридцать один. Я знаю без градусника. По тому, как хрустит рама. По тому, как тянет шрам на предплечье — старый, с того лета, когда я лезла через арматуру у отвала, но до сих пор живой, ноет на морозе, как чужой зуб.

В комнате темно. Электричество у нас выключают в двадцать два ноль-ноль, и вчера я одевалась при свечке. Свечку Тёмка попробовал на вкус и решил, что это сыр. Сыра он не ел ни разу, спорить было не с чем.

Я сажусь, матрас подо мной скрипит: набивка слежалась в лепёшку. Пол ледяной. Нащупываю валенки, сую в них ноги, пальцы сразу сводит — не от боли, от привычки. Тёмка на верхней полке сопит, выкинув руку поверх одеяла. Варежка надета на неё на ночь. Он спит в варежках с ноября. Я не снимаю. Пусть.

— Тём, — говорю я. — Подъём.

— Уже утро? — не открывая глаз.

— Нет. Но уже пора.

Он шмыгает носом, переворачивается, смотрит на меня одним глазом. Волосы дыбом, щека в полоску от подушки. Десять лет, а на лице уже вся наша шахта: скулы да серые разводы у висков, которые не отмываются.

— Каша будет?

— Будет.

— Настоящая?

— Синтетическая. Зато горячая. Это почти победа.

Он фыркает, но встаёт. Сползает с полки, цепляется за край, и я ловлю его автоматически, одной рукой, не глядя. Тело лёгкое, как пустая консервная банка. С каждым месяцем всё легче, и я стараюсь не замечать, и замечаю каждый раз.

На кухне мама уже сидит за столом. Не готовит — просто сидит, зажав в ладонях кружку, в которой давно остыло. Перед ней на клеёнке лежит отцовская каска. Жёлтая, с треснувшим козырьком. Она её не убирает третий год, и я её не убираю, потому что тогда придётся что-нибудь сказать, а слов нету.

— Мам, я кашу поставлю.

Она кивает. Не мне — кружке.

Снимаю кастрюлю, отмеряю крупу, доливаю воды из ведра. Плита газовая, одна конфорка, зажигалка чиркает со второго раза. Через минуту по комнате идёт запах не еды, а мокрого картона с солью. Тёмка всё равно тянется ложкой, и я отодвигаю его руку.

— Сначала я. Потом ты. Потом, если повезёт, добавка.

— Добавки не бывает.

— Сегодня бывает. Сегодня я добрая.

Он смотрит с подозрением. Правильно смотрит. Я и сама себе не верю.

Из ведра достаю сушёную рыбу — тонкую, как щепка, с солью по краям, — ломаю пополам и половину прячу в карман его пальтишка. Не себе. На площади простоим часа два, у него начнёт сводить живот, он станет храбриться и ни за что не скажет. Я знаю: в прошлом году было ровно так же. И в позапрошлом.

Мама поднимает голову. Глаза ясные, и от этого хуже: когда ясные, она смотрит сквозь меня, на дверь, за которой он уходил в смену.

— Рукав, — говорит она вдруг. — У тебя рукав распорот.

Смотрю. Точно: на локте разошёлся шов, вата выглядывает белым языком.

— Зашью.

— Сегодня не надо. — И тише: — Сегодня пусть будет как есть.

Я не спрашиваю почему. Спрошу — она ответит, утро треснет пополам, и я не выйду из этой кухни. Поэтому киваю, доедаю кашу, ставлю кружку в раковину, беру Тёмкину шапку и натягиваю ему за уши, слишком туго, как всегда.

— Больно.

— Значит, не продует.

— Ты всегда так.

— Я всегда права. Одевайся.

Он натягивает пальтишко, доставшееся от соседского парня, которое сидит на нём мешком, и шарф, который я связала из трёх разных клубков. Полосатый, дурацкий и очень тёплый. Он им гордится. Я делаю вид, что не замечаю.

В дверях оборачиваюсь. Мама так и сидит. Каска на клеёнке.

— Мы к обеду, — говорю я.

Она не отвечает. Но губы шевелятся, и я знаю что: «Возвращайся». Каждое утро одно и то же. Сегодня я впервые слышу в этом не привычку, а просьбу.

На улице мороз берёт за горло сразу, без разбега. Дышишь — и внутри носа что-то слипается. Тёмка вцепляется в мою руку, его варежка, большая, с чужого плеча, скользит по моей ладони. Сжимаю крепче.

Не меня. Не меня. Не меня.

Я не молюсь. Я считаю. Слова идут в такт шагам, и это работает лучше, чем думать: левый сапог — не, правый — меня, левый — не. Так можно дойти куда угодно, даже туда, куда не хочется.

Дорога к площади идёт мимо бараков, мимо проходной, потом вдоль забора, за которым стоят грузовые вагоны. Пассажирских у нас нет. Вагоны пришли ночью — я слышала, как прогрохотали по стыкам, длинные, как ночь, с решётками на окнах. Привезли муку, увозят металл. Иногда увозят людей, но об этом вслух не говорят, и я сегодня тоже не стану.

Очередь уже тянется от самой арки. Серые куртки, серые шапки, серые лица — и только у охранников на рукавах красные повязки, такие яркие, что на них больно смотреть. На столбе динамик, затянутый марлей от снега. Из него шипит, щёлкает, потом начинается гимн Единой Державы. Звучит с посторонним дребезгом: один динамик из трёх работает, и на высоких нотах сдаётся, выдавая вместо хора сухой треск. Вчера по всем баракам гоняли Обращение Канцлера. Включали даже там, где приёмник сломан, — на всякий случай. У Стахова голос мягкий, и от этого его слушают даже те, кто не хочет.

Все стоят молча. Шапки не снимают — на тридцати градусах патриотизм заканчивается быстро. Тёмка дёргает меня за рукав.

— А если он сегодня скажет про нас?

— Про Сектор двенадцать?

— Про меня.

Смотрю вниз. Полосатый шарф поднят до самых глаз.

— Скажет про всех сразу. Он так умеет.

— А про меня отдельно?

— Отдельно — только если ты натворишь. Натворил?

Он думает секунду.

— Свечку.

— Тогда держись. Сейчас объявят.

Он хихикает, плечи расправляются. Я готова отдать за это половину каши, которую уже съела. Через секунду он замолкает: мы подходим к площади.

Площадь — бетонный короб между административным корпусом и старым клубом. Раньше тут, говорят, был сквер. Я помню только экран. Он висит на стене клуба, огромный, с выбитым нижним углом, где пиксели застыли синим и не гаснут даже ночью. Голограммы бывают в Новограде. У нас — панель, которой лет тридцать; её не чинят, потому что некому, и не выбрасывают, потому что жалко.

На экране нарезка прошлогодней Жатвы. Звук отстаёт на полсекунды, но лица узнаются: парень из Сектора 4, девочка из Сектора 9. И голос, слишком чистый для нашего динамика:

«…и ещё один незабываемый сезон, друзья! Германа Вольского вы не перепутаете ни с кем!»

Тёмка тянет шею.

— Он правда такой? Который улыбается.

— Улыбаться его работа. Наша — стоять.

На стене корпуса портрет. Канцлер Стахов: седой, улыбается мягко, как сосед, зашедший одолжить соли.

Над сценой, на кронштейне, висит глазок дрона. Маленький, обледенелый, с облупившейся краской, поворачивается рывками, как старая птица. Смотрит на очередь, задерживается на мне на полсекунды — я успеваю подумать, что зря вчера не отмыла скулу, — и уползает дальше. В Новограде таких, говорят, тысячи. У нас один, и он чихает на морозе.

Сцена сколочена из досок, сверху натянута ткань с гербом. На ней уже стоят двое: наш надзиратель, дядя Гриша, в тулупе и с папкой, и женщина, которой тут не место. Белое пальто, белые сапоги, волосы уложены так, будто ветер — это слуга, получивший инструкцию. Из Новограда. Присылают каждый год.

Сегодня она говорит:

— Какая у вас замечательная зима!

Дядя Гриша кивает. Прячет руки.

Толпа гудит негромко, по-своему: кто кашляет, кто переминается, кто сморкается в рукав. Справа тётка Зоя из нашего барака бормочет:

— Двадцать лет. Двадцать лет за тот бунт всё платим. И ещё будут.

— Тётка Зоя, — шипит соседка. — Динамик.

— А мне что, — отвечает та, но тише. — Мне уже всё равно.

Я не оборачиваюсь. Про Голодный бунт я знаю по школьной линейке, по плакату в столовой и по тому, как мама однажды выключила приёмник посреди речи и весь вечер не зажигала свет. Два трибута с каждого Сектора, юноша и девушка, от шестнадцати до двадцати. Раз в год. На всю Державу. И мы смотрим — обязательно смотрим, — потому что в каждом бараке висит табель просмотров, а за пропуск вычитают из пайка.

Тёмке десять. В жребии он не значится. Знаю — и всё равно считаю шаги, и всё равно держу его варежку так, что, наверное, больно. Он сегодня вообще ни разу не пожаловался, и это хуже любой жалобы.

Не меня. Не меня. Не меня.

Регистрация идёт медленно. Сканер у дяди Гриши не работает с марта, поэтому он тычет каждому в ладонь чернильным штампом и пишет фамилию в тетрадь. Чернила пахнут спиртом и чем-то железным. Подходит моя очередь.

— Волкова, — говорит он, не глядя. — Кира. Семнадцать.

— Восемнадцать в марте.

— Сегодня семнадцать. — Он ставит штамп. — Руку не разжимай, а то размажешь.

Он смотрит поверх моей головы, на трубу ТЭЦ. И я понимаю, что он тоже считает: не меня, не мою, не сегодня. У него свои двое дома, папка в руках дрожит чуть-чуть, и я делаю вид, что не вижу.

Штамп на ладони холодный. Я не разжимаю.

Потом нас загоняют плотнее: девушки — к левому краю, юноши — к правому, младшие — за верёвку. Тёмку оттесняют на полшага, я разворачиваюсь, почти хватаю его обратно — и в этот момент динамик щёлкает, гимн обрывается на полуслове, женщина в белом поднимает руку.

Толпа стихает не сразу. Сначала затихает передний ряд, потом средний, потом задние, и тишина подползает к сцене, как вода в подвал. Слышно, как скрипит ткань с гербом. Слышно, как у кого-то в кармане тикает будильник. Слышно, как сопит Тёмка — тонко, часто, со всхлипом.

Женщина берёт со столика барабан. Жестяной, с облупившейся эмалью, с ручкой, которую до неё держали столько людей, что та блестит, как монета. Бумажные карточки внутри шуршат, когда она его крутит. Раз. Два. Три. Она крутит дольше, чем нужно, и улыбается, и я вдруг понимаю, что ей нравится эта пауза: ей за неё платят.

— Девушки! — Голос, усиленный нашим дрянным динамиком, всё равно остаётся гладким. — Сектор двенадцать начинает Жатву!

Она запускает руку в барабан. Пальцы в белой перчатке. Достаёт одну карточку. Разворачивает медленно, будто там что-то интересное, а не моя фамилия.

Пауза.

Я считаю удары собственного сердца и сбиваюсь на третьем.

— Кира Волкова!

Площадь делает вдох. Один, общий, короткий — и выдыхает уже без меня.

Сначала я не понимаю. Слово «Кира» я слышу каждый день, оно примёрзло ко мне, как варежка к рукаву, и мозг его просто не пускает внутрь. Потом доходит второе — «Волкова», — и подошвами уходит пол, и я вижу всё сразу, чересчур резко: синий выбитый угол экрана, шрам на предплечье, чернильный отпечаток у себя на ладони, полосатый шарф, поднятый до глаз, и руку Тёмки, которая всё ещё в моей.

Он не плачет. Он говорит:

— Ты же сказала, к обеду.

Я хочу ответить. В горле стоит что-то твёрдое, размером с кашу, которую я доела десять минут назад.

— Скажи им, — шепчет он. — Скажи, что ты не пойдёшь.

За спиной кто-то произносит моё имя ещё раз — не в микрофон, просто так, с облегчением, которое человек не успел спрятать. Тётка Зоя вздыхает: «Ну, хоть не моя». Дядя Гриша не поднимает глаз от тетради. Дрон на кронштейне дёргается и разворачивается ко мне, и красный огонёк на нём загорается ровно в тот момент, когда я понимаю, что он и раньше смотрел, просто не показывал.

Женщина в белом пальто делает мне знак: сюда, милая, сюда, не бойся. Улыбка не меняется ни на миллиметр.

— Кира! — зовёт она, будто я заблудилась. — Иди к нам. Мы ждём.

Кто-то сзади кладёт мне руку на плечо — не грубо, просто направляет. Я делаю шаг, верёвка, за которой стоят младшие, натягивается между мной и Тёмкой, и пальцы наши разъезжаются. Он цепляется за край моей фуфайки, за распоротый рукав, за ту самую вату, которую мама велела не зашивать, — и вата остаётся у него в кулаке, белая, смешная, ненужная.

— Держи, — говорю я наконец. Голос чужой, но слушается. — Рыба в кармане. Не сразу, когда живот сведёт.

— Кира…

— И шарф не снимай. Слышишь? Ни за что не снимай.

Я отнимаю его руку сама. Медленно, палец за пальцем, и это самое трудное из всего, что я делала в жизни: труднее арматуры у отвала, труднее зимы, когда кончился уголь и мы топили досками из сарая.

Ступенька. Вторая. Доски прогибаются и гудят под сапогом, как пустая бочка. Ветер тут сильнее, без бараков; он подхватывает полу фуфайки, и на секунду я слепну от снежной крошки. Женщина в белом берёт меня за локоть — пальцы тёплые, ухоженные, совершенно не настоящие — и ставит лицом к площади.

Экран за моей спиной дёргается. Пиксели сбегаются, синий угол мигает, и моё лицо — чумазое, с размазанной сажей на скуле, с дыркой на локте — становится больше всего города. Две минуты назад меня не знал никто за пределами нашей очереди.

Теперь знают все двенадцать Секторов.

Динамик шипит, прочищается, и тот же гладкий голос выносит в мороз одно слово, от которого площадь снова замирает:

— Юноши.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.